



В. В. РОЗАНОВ

Около церковных стен

СКЕПТИЧЕСКИЙ УМ

Пятое издание книги К. П. Победоносцева «Московский Сборник» включает в себе некоторые добавления сравнительно с предыдущими изданиями. Это — прежде всего небольшая и яркая статья, направленная главным образом против идеи «сверхчеловека» и вообще ницшеанства: «Новое христианство без Христа»; три новые главы в «Болезнях нашего времени» и статья С. Рачинского: «Древние классические языки в школе». Сборник, как известно, не весь оригинален: в нем нам встречается прелестное стихотворение «Старые листья» — из Саллета, выдержка о бессознательной жизни душ — из Каруса, переводы из Гладстона, Карлейля и Эмерсона. Но если, таким образом, не все в этом «Сборнике» принадлежит лично его автору, то тем не менее «Сборник» есть высоко цельная книга, проникнутая совершенным единством духа. Каждый человек много думает и много читает. Если это в то же время серьезный человек, то читаемое и найденное самостоятельно у него сливается в один ком, где он не умеет и не хочет различать свое и чужое. Самолюбие авторства отходит на второй план перед величием тем.

«Сборник» этот прелестен по языку, краткости статей и по важному их содержанию. Это как бы листки записной книжки, но без небрежности изложения: все статьи одушевлены и чистосердечны именно как страницы дневника. Невозможно читать эту книгу и нисколько не заражаться ею. Почти каждый год появляется новое издание, и нет причин думать, чтобы успех ее стал меньше, когда ее автор перестанет быть живым и действующим лицом. Мы скажем и похвалу и некоторое порицание, если сравним книгу с «Баснями Крылова», книгой поучительной, читаемой, народной, но несколько элементарной. Отсутствие

слишком большой сложности хода мышления составляет недостаток ее построения. В записной книжке не доказывают, не убеждают, но вдохновенно летят вперед и увлекают самим этим полетом. «Сборник» имеет чарующую прелесть для сердца, но уму везде хочется с ним спорить, и, да не будет это обидно для автора, ум часто чувствует крайнюю легкость опрокинуть этот симпатичный полет благородного скорбного мыслителя. Он, например, называет «великою ложью нашего времени» выборные, голосовательные и т. п. «говорильные» принципы западной цивилизованной жизни. Пусть. Мы не за них. Но достаточно указать автору на параллели эпохи Аракчеева и Клейнмихеля с временем Питта и Каннинга, чтобы заставить его или умолкнуть, или сознаться, что есть принципы гораздо худшие «говорильных». Это только один из примеров «кстати»...

На пространстве всех 366 страниц книга полна явного или тайного вздоха. Невозможно без волнения прочесть эти строки в ней:

Срывая с дерева засохшие листья,
Вы не разбудите заснувшую природу,
Не вызовете вы, сквозь снег и непогоду,
Весенней зелени, весенней теплоты!

Придет пора — тепло весеннее дохнет,
В застывших соках жизнь и сила разольется,
И сам собою лист засохший отпадет,
Лишь только свежий лист на ветке развернется.

Тогда и старый лист под солнечным лучом,
Почуяв жизнь, придет в весеннее брожение:
В нем — новой поросли готовится назем,
В нем свежий сок найдет младое поколение...

Читателю в строках этого стихотворения невольно слышится ретроспективный взгляд его переводчика на себя. Под осень соки в дереве идут в обратном направлении сравнительно с тем, как шли весной. И вот этим «обратным направлением» полна рассматриваемая книга. Но природа имеет свои законы; они — есть у дерева, и есть у времен года. И осень для того, кто умеет ее видеть, понимать и ценить, может быть почти так же хороша, как и весна. «Обратное направление», которое вызвало бы у нас бурный протест, будь то высказано кем-нибудь другим, — в К. П. Победоносцеве исполнено такой природности, неодолимости, ума, своезаконности, что мы только говорим: «Ну, что ж, осень! Что делать — осень! Нет душистых роз, но есть эти красивые, кожистые, вечные астры. Остановимся над ними и насладимся зрелищем».

Но как горько, что автор чужд той природной веры, которая и составляет характерный момент весенней души. Весна провидит осень и сбор плодов, но осень видит уже только зиму. Взор автора или «составителя» «Сборника» весь обращен к прошлому. Прошлое есть его поэзия, его утешение. В будущем он ничего не видит, для будущего он не имеет надежд. Как это горько читателю, деятелю, каждому! Горько за автора, горько за будущее. В будущее легче было бы идти, имея другом этот опытный ум, а астры, конечно, имели бы внутреннее счастье, благоухали как розы. Но нет этого. Между автором и читателем нет мира. Сердца их враждуют, борются. А как хотелось бы быть вместе!

И счастье было так возможно...
Так близко...

Неужели, — обратимся мы к автору, — люди так глупы и непоправимо глупы, что могут только сломать шею, идя вперед? Неужели люди так дурны в обыкновенном и пошлом смысле, что если они хотят идти вперед, то делают это как злые и испорченные мальчишки, только с намерением дебоша, а не чего-нибудь прекрасного? Как можно не верить в человека? И особенно не верить в него, озирая столь сложный узор времен и событий, какой пронесся перед автором? И можем ли мы думать, что он, в длинной череде лет, не встречал людей высокого сердца, большой чистосердечности, обширного ума? Его небольшая книжка «Вечная память» опровергает такое предположение. А между тем «Московский сборник» весь дышит недоверием к людям, и как к толпе, и индивидуально. Он не был бы написан или имел бы совершенно другой колорит, если бы автор не изверился в величайшем сокровище мира, в человеческой душе! Горько это. Страшно. А главное — ошибочно. Автор как бы рассматривает все худое в увеличительное стекло, а все доброе в отражении вогнутого уменьшающего зеркала. Он не имеет объективно спокойной картины перед собою и заразился скептицизмом относительно того, о чем невозможно и наконец грешно, порочно сомнение.

«Московский Сборник» — *грешная* книга, вот наше *resumé*. Она полна скептицизма и проистекающей из него печали. «Дух же *уныния*, любоначалия и празднословия отжени от меня», молится Церковь. Без психологического момента веры, без способности уповать, надеяться, без некоторой святой наивности — невозможна вообще религия; зато в ком эта вера утвердится, то она вырастет, как зерно горчишное в целый лес доверчивых и любящих отношений к людям, к государству, к природе, к со-

бытиям! «Ангел Иеговы», — приведу библейское выражение, — ведет народы к битвам, к миру, к открытиям, успехам, и запрещает им остановиться. Где же и быть Богу, где же Ему и оказаться, как не в истории? Ведь есть же Провиденциальность? А это другое имя Бога, и только грешный отвергнет в истории Промысел. Поэтому историческое уныние, политическое уныние есть грех. Между тем таким-то унынием и полна изящная и малодушная книга, которую мы рассматриваем.

Она полна общими идеями. Но средоточие всех идей, сам человек, во всех подробностях его конкретного и милого образа, забыт, обойден в ней. Автор, например, хочет бессмертного человека, т. е. он хочет бессмертия души человеческой. И в длинном извлечении из Каруса он передает ощущения умирающего, ощущения возрастающего оживления и радости: и так как эти ощущения — предсмертные, то он считает «доказанным», что мы воскресаем во вторую и лучшую жизнь. Хорошо. Догмат бессмертия души утвержден. Но если бы он с такими же подробностями передал, положим, жизнь Пастера, например, рассказ о том, как имея на руках ребенка, умершего от укуса бешеной собаки, он на несколько лет отложил в сторону все научные работы и предался изысканию средства против ужасного этого страдания, и наконец нашел его, — то он показал бы и доказал читателям еще важнейшую истину, что человек есть любящее существо и что его самого стоит любить. Автор любит многие институты: церковь, отечество, закон; больше всего — церковь и древность. Но человека в его индивидуальности? Не видим этого. Человек представляется ему несчастным червяком, который ползет в великом мавзолее истории. Это бедное и неверное представление, и просто оно основано на незнании *подробностей* в человеке.

Книга вообще не имеет в себе подробностей. Это — отвлеченная книга, и ее отвлеченность тем более мучительна, что это — не отвлечения ума, а отвлечения сердца. «Церковь», «государство», «закон», «прошлое», «будущее», «настоящее», «характеры» (самые общие, схематические) — вот рубрики, по которым движутся эти плоды

Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Но вы не найдете в ней собственного имени, любящегося на человека рассказа. На всем ее протяжении нигде не попадается анекдота, смеха; а ведь смех примиряет, а ведь смех есть добрая черта в человеке. И совершенное отсутствие даже намека на него есть в этой книге зловещий признак.

Она вся серьезная и сплошь серьезная. Я сказал, что в ней нет подробностей. Это не только в смысле очерка, но и в смысле рассуждения. Он пишет, например, «Болезни нашего времени» (16 глав). Копаются ли он с усердием Захарьина в этих болезнях? Он поступает как маг. Развернул широкое полотно и начертал узор своих вздохов, не объясняя, не доказывая, почти только поэтизируя. Все его статьи похожи на *resumé* председателя суда: в них нет прения сторон, борьбы защиты и обвинения, и, главное, не представлены самые материалы судебного разбирательства, рассказы и свидетельства очевидцев-обывателей. Я говорю — это ряд знойных схем, почти без всякого фактического материала.

За четверть века нашей литературы это одна из самых прелестных, до известной степени обворожительных по изложению, по стилю, по темам и построению книг. Поэзия и мысль сплели узор ее страниц. Но по отсутствию Захарьинского усердия к темам, пусть бы лучше уж неуклюжего, но основательного, это есть неубедительная и даже чуть-чуть поверхностная книга. Невозможно касаться таких серьезных и до известной степени страшных тем в блестящих очерках по 15, по 20 и часто гораздо менее страниц. Мы не доверяем председателю, когда он не дал нам выслушать ни судебного разбирательства, ни материала фактов. Мы его *resumé* прослушали, но не хотим ему следовать. Тут он виновен, а не читатель. Читатель видит перед собою прекрасные... миражи слова, затейливые башенки, журчащие ручьи, пальмы и горы; но все это — *fata-morgana*¹, опрокинутая в небо над знойной и безлюдной и страшной пустыней. Эту пустыню образуют: скептицизм, неуважение к человеку. И плод их — уныние. Книга эта — привлекательный собеседник для человека, но не теплый друг человека. Навеваемое уныние парализует человека, отнимает силы у читателя, у возможного деятеля. Вздохи автора отдаются резонансом в груди этого читателя, — рождают в ней свои, другие вздохи. Он вырастает в собственных глазах, приобщившись всей этой умственной роскоши, умственного изящества. Но эти приобретения читателя никогда не будут приобретениями общества. В читателе и особенно в почитателе названной книги общество скорее потеряет здорового, нужного, бодрого труженика, обогатившись одним лишь меланхоликом. И счастлив тот осмотнительный читатель, который, ухватясь за здравый смысл и веру в Бога, «провздохав» все 365 страниц, на последней 366-й скажет: «Э, ну их, эти страхи! Бояться волка — в лес не ходить! Бог не выдаст — свинья не съест».

К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ. ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА В ШКОЛЕ.
С.-ПЕТЕРБУРГ. 1900. ЦЕНА 10 К.

Автор книжки — великий любитель теорий. Все теоретическое его привлекает; восхищает, когда оно планомерно и упорядочено. «Умная жизнь» — вот заголовок, который можно было бы дать всей серии книг и переводов, им изданных. При этом он настолько проницателен, что, конечно, видит, что одним умом не проживешь, и он «входит с умом» в мир инстинктов, сердца, воли, даже страстей, пытаясь упорядочить и связать в умный механизм самые эти инстинкты и сердце. Таково и лежащее перед нами «Воспитание характера в школе», собственно перевод статьи г. Barne — «Common sense in education and teaching». London. 1899. Статья очень методично подвигается по рубрикам школьной жизни и везде дает советы, в уме и правильности которых нельзя усомниться. Как у людей, почти обремененных умом, у автора и переводчика есть скептицизм к самому уму, недоверие к его творческим силам, сознание роли его, как только умного воспитателя около гениального ребенка. Этот гениальный ребенок — инстинкты, сердце, душа, страсти. — Что выйдет из них? Воспитатель трепещет. Сильнее и сильнее он напрягает морщины чела, чтобы к каждому шагу необузданного сознания придумать... не правило — так поступают глупцы, но принцип, т. е. нечто эластичное — так поступают мудрецы. Все труды г. Победоносцева и суть принципы и принципы, ткань «умной сетки», из которой гениальный ребенок не вывалился бы. Нам думается, однако, что зерно инстинктивных сторон, «душа» души человеческой — для него все-таки темна и непроницаема в том поэтическом и неуловимом свете, которым она единственно живет и существует. Огромная разница между «управлять инстинктами» и «иметь инстинкты». Чрезмерное неравенство между «управлять» и «иметь» порождает осторожность, неуверенность и вообще подсекает крылья в тесном смысле творчества. Инстинкт — *верит*; ум — не верит, потому что он только видит, что *кто-то* есть, и не знает точных границ этого «есть», ни сил его, ни вообще природы. Жизнь, история — непременно творятся верою; без веры — ни шагу, не только в религии, но между прочим даже и в политике. Я повторяю, что вера есть великое ощущение сердцем просто избытка в себе бытия — того, что оно просто есть: «я *есмь* и вот — я иду вперед». Этого нельзя создать и этого нельзя заменить никакою критикой, как бы она могущественна и утончена ни была, никакою теорией и теоретизмом.

Во Франции был великий теоретик Буало, автор «L'art poétique»², имевший огромное влияние на современных и последующих поэтов, но сам не поэт. Вот пример и вот мерило, которое мы хотели бы и которое вправе приложить к переводчику разбираемой брошюры. Если около порывистых современных ему умов, из которых все *критически* были гораздо ограниченнее и грубее К. П. Победоносцева, поставить его, то он будет около них, как Буало около Расина или Корнеля; а все его труды можно озаглавить: «L'art politique, pedagogique et religieux de vivre très prudemment et solidement»³. Некогда греческий философ Платон написал две книги — теоретическую «Республика» и практическую «Законы»; незаметно и бессознательно этот замысел Платона все обдумать и для всего начертать план, «предначертать жизнь» — живет и в знаменитом современном нам государственном человеке, и живет этим же разделением точных практических указаний и более высоких духовных полетов. Но как в одних, так и в других есть одна господствующая страсть, уже почти в силе и яркости инстинкт, — управлять, направлять. В сущности это есть черта любви к человеку, заботы о человеке. «Тебе без меня будет хуже». Да, мы верим, что в великих политиках живет любовь; и грустная сторона их существования заключается в том, что самое положение управляющего заставляет политика хорониться в лучших своих чувствах, и главный мотив их деятельности, как совершенно задрапированный, остается неизвестен никому, а потому — без ответа и неразделен. Это — дядьки без благодарности воспитанника. «Воспитанник» чувствует себя только измученным муштровкой, наставлениями, правилами и принципами «долгой и счастливой жизни», «жизни добродетельной и рассудительной». Нам кажется, у Пушкина есть хороший стих обо всем этом, т. е. об этих учителях, от Платона до г. Победоносцева:

В начале жизни школу помню я:
 Там нас, детей беспечных, было много!
 Неравная и резвая семья!
 Смиренная, одетая убого,
 Но видом величаясь жена
 Над школою надзор хранила строго.
 Толпою нашею окружена,
 Приятным, сладким голосом, бывало,
 С младенцами беседует она.
 Ее чела я помню покрывало,
 И очи светлые, как небеса.
 Но я вникал в ее беседы мало.

Этого психологического несоответствия между критически-ми, дисциплинарными, регистрирующими способностями человека и между его непосредственной субъективностью — трудно избежать, никто его не сумел преодолеть. Какую бы это боль ни причиняло «регистраторам человечества», но и субъективисты имеют тоже свою боль, как и законы своего движения. Тут может быть соглашение, компромисс, но о победе нечего и мечтать; да и в самой выработке параграфов компромисса податливость и уступка должна идти от критических способностей, ибо человеческая субъективность, сумма человеческих инстинктивных даров всегда может, вглядываясь в непроницаемую будущность, сказать о себе, насмешливо щурясь, стихом Лермонтова:

Здесь — я владею, я — люблю,

т. е. *будущность* и *факт* принадлежат во всяком случае творчеству и непосредственному факту, принадлежат, так сказать, Расинам и Корнелям политики, а не Буало политики.

